

АВГУСТА ДИКИЕ ПЛОДЫ

Десять лет назад августовский «путч» перешёл в августовскую «революцию». Эта революция была одной из множества, прокатившихся в тот период по странам СССР и соцлагеря. И все они шли под практически одинаковыми лозунгами — антикоммунизма, демократии, рынка, прав человека, «возвращения в Европу» и т. д. Но сейчас мы видим, что возникшие из них политические системы — очень разные, и наша система принципиально отличается от сформировавшихся в европейских посткоммунистических странах, всё более воспроизводя многие черты предшествующей советской системы. Если из одного из посаженных в землю семян выросло какое-то совсем неожиданное растение, значит, и семя было — похожее, но другое. Тогда, в момент посадки, его маленькие отличия от других семян можно было не заметить, но затем они превратились в громадные различия сформировавшихся организмов. Что же особенного было в нашей демократической революции?

Практически во всех странах, кроме России, демократы могли представлять (несколько упрощая реальность) коммунизм как систему, привнесённую русскими завоевателями, а демократию и рынок — как возвращение к тому, что было в результате этого завоевания утрачено. Антикоммунистические идеологии легко принимали «национально-освободительную окраску». В России этого быть не могло. Коммунизм у нас — свой, а не навязанный извне, он господствовал дольше, чем в других странах, и под его знаменем была создана величайшая империя, в которой русские были если не господами, то «старшими братьями». Одновременно, хотя докоммунистический строй на позднем этапе своего развития у нас был значительно либеральнее коммунистического, всё же он был слишком далёк от демократии, чтобы её можно было изображать, даже с «натяжками», как возвращение к национальной «норме». «Национально-освободительного» компонента в нашей антикоммунистической идеологии быть не могло.

Естественно, что не могло быть и сплочения антикоммунистической революционной идеологией подавляющего или даже простого большинства народа. В отличие от идеологий революций в Польше, Венгрии, Чехии, балтийских странах, охвативших всё общество (различия политических сил скорее касались методов освобождения от коммунизма и «возвращения в Европу»), наша революционная идеология августа 1991 г., как и октября 1917-го, была идеологией меньшинства. Это меньшинство было активным, более образованным, сосредоточенным в стратегически важнейших центрах и имеющим мощных союзников вне России, но только на самом пике революционного процесса ему удалось на время повести за собой большинство, добившись избрания Ельцина президентом. Да и тогда большинство голосовало не за «настоящую» власть — никто не подозревал, что Россия скоро станет «независимой» — и очень смутно представляло себе, что хочет Ельцин. (Что хотят Валенса, Гавел или Ландсбергис, понимали все, и все хотели того же.) Эти не бросавшиеся в то время в глаза отличия нашей демократической идеологии и её социального и культурного контекста от демократической идеологии других стран затем развиваются в громадные отличия сформировавшихся политических организмов.

Меньшинство «по определению» не может прийти к власти демократическим путём. Реальная власть досталась нашим демократам не на выборах, а в

результате августовской революции и затем — безусловно противоречащих стремлениям большинства, свалившихся на него как снег на голову Беловежских соглашений, которые Ельцин даже пост фактум не решился легитимизировать каким-нибудь референдумом. Способ прихода к власти наших демократов, таким образом, ещё больше, чем их идеология, отличался от способа прихода к власти демократов в европейских странах и был не так уж далёк от того, каким пришли к власти в 1917 г. большевики, прогнавшие Временное правительство и Учредительное собрание.

Дальше отличия нашего политического развития от европейского процесса и его сходства с первым послеоктябрьским витком нашей исторической спирали становятся всё заметнее. Если, как это было в европейских странах, возглавившая революцию группировка опиралась на большинство общества и во всех наиболее важных своих действиях выполняла его волю, она может уйти от власти. Ничего страшного при этом ей не грозит. Пришедшему же к власти меньшинству не остаётся иного пути, кроме закрепления у власти и превращения её в «безальтернативную», а демократии — в «управляемую». За августовскими событиями у нас следуют Беловежские соглашения, затем — приватизация, кровавый разгон съезда народных депутатов, принятие на референдуме, подлоги которого очевидны и документы которого были уничтожены, авторитарной Конституции. Каждый из этих шагов означает укрепление власти августовских победителей и одновременно — сожжение ими за собой очередного «моста». После каждого из них наши «демократы» всё меньше могут уйти от власти, ибо такой уход всё неизбежней означает для них тюрьму, разорение, гибель. У победителей был только один путь — вперёд, ко всё большему контролю своей власти над обществом.

Любая революция, даже сплотившая в едином порыве всё общество, всё равно через какое-то время вызывает реакцию. Люди устают от шума и энтузиазма, от вождей, может быть, прекрасных в революционной ситуации, но оказывающихся плохими руководителями в «мирное время», требующее иных навыков и иной психологии. Они начинают понимать, что их ожидания были слишком радужными и что даже в коммунистическом режиме было кое-что хорошее, что выбросили «сгоряча». Поэтому во всех европейских посткоммунистических странах через некоторое время партии, возглавлявшие революции, терпят поражение на выборах, и к власти приходят оппозиционные группировки, также поддерживающие основные цели революции, но противопоставляющие свою «умеренность» радикализму демократов и объединяющие скорее старую элиту. И именно эта первая ротация власти окончательно превращает власть демократов во власть демократии.

Реакция происходит и у нас. Но «европейская» форма реакции — уход «демократов» и победа оппозиции — у нас была исключена изначально, самим способом прихода демократов к власти. В режиме же «безальтернативной» власти реакция принимает принципиально иную форму и работает не на демократию, а на усиление антидемократических черт государства и общества. Так было на первом витке нашей спирали, при переходе власти к Сталину, правление которого было не только продолжением ленинского, но и реакцией на революцию, вернувшей многие черты, символы и «дух» дореволюционного режима. В «смягчённом» виде то же самое происходит и на втором витке спирали. По совершенно разным причинам, но и верхи, и низы общества, и те, кто потерял от революции, и те, кто приобрёл, у нас стремятся отойти от «духа 1991 года». Те, кто потерял — потому, что революция ничего, кроме страданий и обнищания, им не принесла. Те, кто приобрёл, наоборот, — потому, что она уже сделала своё дело, дала им всё, что могла дать, и теперь им нужно закрепить её «завоевания».

И как и в сталинское время, установившийся в результате революции режим начинает всё более опираться на русскую авторитарную традицию (при Сталине — самодержавную, при позднем Ельцине и Путине — и самодержавную, и советскую). Сейчас на нашем российском «революционном календаре» 1927-й — десятый год после революции. Это — год, когда режим уже прошёл через испытание перехода власти от революционного лидера к его преемнику, ставящему перед собой задачи ликвидации остатков революционного хаоса и установления жёсткой вертикали власти и её полного контроля над обществом. Год, когда люди типа Проханова или Дудина начинают видеть что-то родное в облике этого преемника, который смог вернуть порядок значительно лучше, чем путчисты ГКЧП с их «дрожащими руками», как в своё время что-то родное — не то от Петра I, не то от Ивана Грозного, — с изумлением начинали видеть в Сталине многие русские контрреволюционеры-монархисты. Год, когда власть не только утвердилась как «безальтернативная», но эта безальтернативность уже всеми осознаётся. Когда народ начинает воспринимать власть не как «новую», революционную, а просто как власть, «объективную данность». Когда реальных противников у власти уже не осталось — действительно опасные «оппозиции» разгромлены, а от коммунистов для теперешней власти опасности не больше, чем для большевистской от православной церкви. Год всё усиливающихся конформизма и сервильности, когда каждый руководитель, занявший какой-либо пост, клянётся в верности главе государства и его курсу. Год, когда начался массовый выпуск скульптурных бюстов вождя и маек с его изображением. И это ещё далеко не конец. За 1927-м должен последовать и 1937-й. Особенно страшным он не будет (на втором витке всё мягче и «мельче»), но движение по пути всё большей «безальтернативности» и «управляемости» явно ещё не завершилось, и шпионов вокруг становится что-то всё больше и больше. В нашей августовской революции было то, что отличало её от других антикоммунистических революций и сближало с русской революцией 1917 г. Соответственно, и организм, который из неё вырос, не похож на европейские и во многом всё более напоминает советский. Но раз так, значит, эти сходства будут сохраняться и в его дальнейшей судьбе. Безальтернативный режим, как все режимы такого рода, будет стремиться ко всё большему контролю над обществом и всё большей неподвижности. Публичная политическая жизнь может вообще замереть, и политика — полностью свестись к подковёрным кремлёвским интригам вокруг «доступа к телу». А дальше режим неизбежно будет погружаться в маразм и спячку. Но общество всё равно будет развиваться, как оно развивалось и в советские годы. И где-то траектория маразмизации режима и развития общества пересекутся, как они пересеклись при Горбачёве. Но в XXI веке всё будет развиваться быстрее, чем в XX, и наш «девяносто первый» наступит значительно раньше, чем через 63 года.